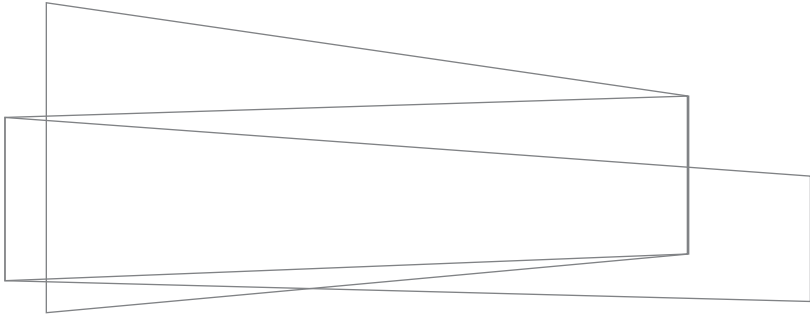


ЛУЧШИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР



* * *

Через несколько месяцев после выхода моего последнего романа я прекратила писать. В течение почти трех лет я не написала практически ни строчки. Порой устойчивые выражения следует понимать буквально: я не написала ни делового письма, ни благодарственной карточки, ни видовой открытки из отпуска, ни списка покупок. Ничего, что потребовало бы определенного усилия, без которого невозможно написать что-либо. Ни строчки, ни слова. Вид блокнота, записной книжки, каталожной карточки вызывал у меня тошноту.

Мало-помалу само это действие стало случайным, неуверенным, совершаемым не без боязни. Необходимость сжимать в пальцах ручку представляла для меня все большую трудность.

Позже я начала впадать в панику, стоило мне открыть документ Word.

Я пыталась найти удобное положение, оптимальный угол наклона экрана, вытягивала под столом ноги.

А потом часами сидела, вперив неподвижный взгляд в экран.

Через некоторое время у меня начали дрожать руки, стоило мне приблизиться к клавиатуре.

Я без разбору отказывалась от всех поступавших мне предложений: статей, летних новостей, предисловий и других форм участия в коллективном творчестве. От одного только слова «писать» у меня сводило желудок.

Я не могла больше писать.

Писать — только не это.

Теперь я знаю, что в моем окружении, литературной среде и социальных сетях ходили обо мне различные слухи. Знаю, что говорили, будто я никогда больше не буду писать, что я дошла до своего предела. Что костер из соломы или бумаги горит недолго. Любимый человек вообразил, будто от общения с ним я утратила вдохновение или же потеряла питательную жилу и, следовательно, вскоре брошу его.

Когда друзья, знакомые, а иногда даже журналисты отваживались расспрашивать меня о причинах моего молчания, я говорила об усталости, о поездках за границу, гнете популярности и даже о завершении литературного цикла. Я ссыалась на отсутствие времени, рассеянность, беспокойство и выкручивалась с улыбкой, безмятежность которой никого не вводила в заблуждение.

Сегодня я знаю, что все это лишь отговорки. Все это ничего не значит.

Случалось, разумеется, что я при близких упоминала о страхе. Не припомню, чтобы я говорила об ужасе. И все же речь шла именно об ужасе. Сейчас я могу признаться: процесс письма, который давно занимал меня, который изменил все мое существование и был так дорог мне, отныне наводил на меня ужас.

О С Н О В А Н О Н А Р Е А Л Ь Н Ы Х С О Б Ы Т И Я Х

Истина заключается в том, что в момент, когда мне в соответствии с циклом, где чередовались латентный и инкубационный периоды с собственно написанием, циклом почти хронобиологическим, практикуемым мною уже более десяти лет, пришлось вернуться к письму, — так вот, в тот самый момент, когда я уже готовилась начать книгу, используя сделанные для нее заметки и обилие собранных документов, я вдруг повстречала Л.

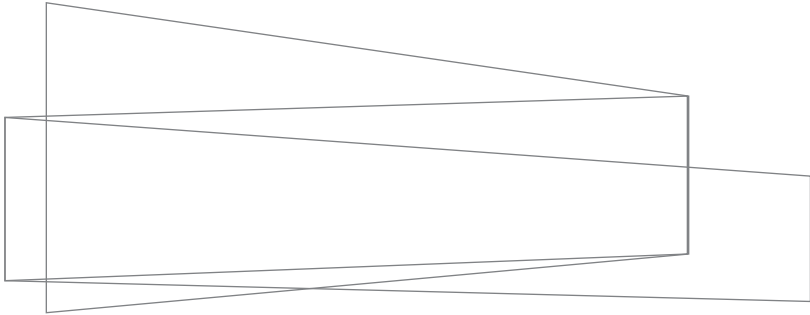
Теперь я знаю, что Л. — одна-единственная причина моего бессилия. И что два года, когда мы были вместе, чуть было не обрекли меня на вечное молчание.



ОБОЛЪЩЕНИЕ

Он чувствовал себя персонажем,
чью историю рассказали не как быль,
но как художественный вымысел.

Стивен Кинг, Мизери



* * *

Я бы хотела рассказать, как, при каких обстоятельствах Л. вошла в мою жизнь. Я бы хотела как можно точнее описать контекст, который позволил Л. проникнуть в мое личное пространство и терпеливо завладеть им. Это не так просто. И вот сейчас, когда я пишу эту фразу: «при каких обстоятельствах Л. вошла в мою жизнь», я осознаю, сколь напыщенно это выражение в связи с раздутым пустяком, каким образом оно подчеркивает еще не существующий драматизм, это желание оповестить о переломе или неожиданном повороте. Да, Л. «вошла в мою жизнь» медленно, уверенно, коварно, до глубины перевернула ее. Л. вошла в мою жизнь, словно вышла на театральные подмостки прямо посреди спектакля, как будто режиссер позаботился о том, чтобы все вокруг поблекло, уступив ей место. Как будто выход Л. был подготовлен таким образом, чтобы указать на ее значительность, чтобы именно в этот момент зритель и другие лица, присутствовавшие на сцене (в данном случае я), смотрели только на нее, чтобы все вокруг

нас замерло и ее голос разнесся по всему залу. Короче, чтобы она оказала свое воздействие.

Но я слишком спешу.

Я повстречалась с Л. в конце марта. После каникул Л. уже разгуливала по моей жизни, словно давнишняя подруга по хорошо знакомой местности. После следующих каникул у нас уже были наши *private jokes*¹, общий язык, составленный из намеков и двусмысленностей, взгляды, которых было достаточно, чтобы понять друг друга. Наше сообщничество питалось взаимными признаниями, но также и недосказанностью и молчаливыми замечаниями. По прошествии времени и учитывая жестокость, в которую позже превратились наши отношения, я могла бы поддаться искушению сказать, что Л. вошла в мою жизнь со взломом, имея единственной целью захват моей территории, но это было бы неправдой. Л. вошла тихо, с безграничной деликатностью, и я испытала с ней мгновения поразительного согласия.

Вечером накануне нашего знакомства меня ждали на Парижском Книжном салоне на автограф-сессии. Там я встретила своего друга Оливье, приглашенного для прямой трансляции со стенда «Радио Франс».

Я смешалась с толпой, чтобы послушать его. А потом мы с ним и его дочерью Розой поделили на троих бутерброд, усевшись прямо на потертое ковровое покрытие в укромном уголке салона. Я была объявлена на четырнадцать тридцать, времени у нас оставалось немного. Оливье не замедлил сказать мне, что я выгляжу усталой, он всерьез беспокоится, как я справлюсь со всем этим. «Все это» означало одновременно и то, что я написала

¹ Свои шуточки (англ.). — Здесь и далее примеч. пер.

такую личную, интимную книгу и что эта книга получила такой резонанс — резонанс, на который я вообще не рассчитывала, он знает, и к которому, следовательно, не была готова.

Позже Оливье предложил пойти со мной, и мы направились к стенду моего издателя. Мы миновали очередь, плотную, тесную. Я хотела понять, к какому автору она стоит. Помнится, я подняла глаза в поисках афиши, которая подсказала бы нам его фамилию, и тут Оливье шепнул мне: думаю, это к тебе. Действительно очередь тянулась издали, а потом заворачивала к стенду, где меня ждали.

В другое время, и даже несколькими месяцами раньше, это наполнило бы меня радостью и, конечно, тщеславием. Я часами смирно поджидала читателей в различных салонах, позади стопки своих книг, но никто не приходил. Я знала эту растерянность, это вызывающее чувство стыда, одиночество.

Теперь же я была охвачена совсем другим чувством, чем-то вроде восторга. На мгновение меня посетила мысль, что это слишком, слишком для одного человека, слишком для меня. Оливье сказал, что уходит.

Моя книга вышла в конце августа, и с тех пор я в течение нескольких месяцев переезжала из города в город, с презентации на автограф-сессии, с дискуссии в книжные магазины, библиотеки, медиатеки, где меня ждали всё более многочисленные читатели.

Порой из-за этого меня охватывало чувство, что я добилась цели, увлекла с собой, за собой тысячи читателей; чувство, разумеется, обманчивое — что меня услышали и поняли.

Я написала книгу, значения которой даже не представляла.

Я написала книгу, впечатление от которой среди моих близких и моего окружения станет распространяться волнами, побочного действия которых я не могла предвидеть. Книгу, которая незамедлительно укажет на мои нерушимые основы, но также и на моих ложных союзников; книгу, чье замедленное действие будет продолжаться долго.

Я не представляла себе ни многократного умножения предмета, ни последствий этого, не представляла этой фотографии моей матери, растиражированной сотнями, а потом и тысячами экземпляров. Этой фотографии, помещенной на суперобложку и широко поспособствовавшей распространению текста. Этой фотографии, очень скоро отделившейся от самого ее образа и с тех пор ставшей портретом не моей матери, а персонажа романа, тревожного и излучавшего особую энергетику.

Я не представляла взволнованных и робеющих читателей, не представляла себе, что кое-кто расплчется передо мной и как мне будет трудно сдерживаться, чтобы не плакать вместе с ними.

И был тот самый первый раз, в Лилле, когда хрупкая молодая женщина, очевидно, изнуренная частым пребыванием в больницах, призналась, что роман дал ей безумную, безрассудную надежду на то, что, несмотря на болезнь, несмотря на то, что уже случилось и чего нельзя исправить, несмотря на то, что «из-за нее» пришлось вынести ее детям, они, может быть, смогут любить ее...

А как-то в другой раз, в Париже, воскресным утром один сломленный жизнью мужчина рассказал мне о своем психическом расстройстве. О том, как другие смотрят на него, на них, — тех, кого многие так боятся, что свалили

всех в одну кучу: страдающих раздвоением личности, шизофреников, просто людей, склонных к депрессии, — и налепили на них этикетки, словно на запакованных в целлофан кур, в соответствии с современными тенденциями и обложками иллюстрированных журналов. И Люсиль, моя неприкосновенная героиня, всех их возвращала в общество.

И другие: в Страсбуре, Нанте, Монпелье — люди, которых мне порой хотелось заключить в объятия.

Понемногу мне худо-бедно удалось выстроить невидимую преграду, санитарный пояс, который позволил бы мне продолжать, будучи здесь, соблюдая хорошую дистанцию, совершать некое движение диафрагмы, которое задерживало бы воздух на уровне грудины таким образом, чтобы получалось нечто вроде валика, такая невидимая подушка безопасности. А потом я постепенно выдыхала бы ее, когда опасность миновала. Тогда я могла слушать, говорить, понимать, какие узелки завязываются по отношению к книге, все это движение между читателем и текстом, при том что книга почти всегда и по причине, которую я не могу объяснить, адресует читателя к его собственной истории. Книга была чем-то вроде зеркала, глубина и границы которого находились вне моей компетенции.

Но я знала, что со дня на день все это скажется на мне: количество, да, количество читателей, комментариев, приглашений, число книжных магазинов, в которых я побывала, и часов, проведенных в скоростных поездах. И тогда что-то просядет под тяжестью моих сомнений и противоречий. Я знала, что в один прекрасный день не смогу уклониться от этого, и мне придется познать точную меру вещей и расплатиться сполна.